



І. ДЕТСТВО И ГОДЫ УЧЕНИЯ

Днем 7 июля 1862 года в ворота Петропавловской крепости въехала черная карета, в которой жандармы привезли Николая Гавриловича Чернышевского, арестованного по приказанию царя.

Правительство Александра II уже давно замышляло расправу над великим революционером, писателем и ученым, нетерпеливо ожидая удобного предлога, чтобы пресечь его деятельность. Духовный вождь революционного поколения «шестидесятников», стоявший во главе «Современника» — лучшего журнала эпохи, был в глазах царя и его приспешников наиболее опасным противником существовавшего строя. Его арест был предрешен.

Но и в стенах Петропавловской крепости в ожидании суда и приговора великий революционер не сложил оружия. Здесь, кроме знаменитого романа «Что делать?», ставшего настольной книгой борцов за свободу народа, Чернышевский написал более 200 печатных листов: повести, рассказы, научные трактаты, воспоминания. Он начал писать здесь и обширную автобиографию, задуманную очень широко, но выполненную только частично.

В иных отношениях шутивно, а отчасти и серьезно он уподоблял писание автобиографии историческому повествованию, в котором должно было, начав со времен «доисторических», с легенд и мифов, перейти постепенно к фактам, к живым лицам, к действительной жизни. Он хотел воскресить обстановку, в которой жили его ближайшие предки, их понятия, бытовой уклад, чтобы дать читателям полное представление о тех впечатлениях, под влиянием которых выросло поколение среднего сословия, родившееся на свет в коренных областях России в двадцатых годах XIX века.

Из рассказов бабушки со стороны матери, П. И. Голубевой, корни «родословного древа» были Чернышевскому известны смутно, не глубже, чем на полвека до собственного рождения. Чернышевский не знал толком, священником или дьяконом был его прадед, не знал даже и фамилии его. Генеалогические сведения о предках со стороны отца были не богаче и начинались годом его рождения (1793). Но и это Чернышевский запомнил лишь по его послужному списку. Он не поинтересовался узнать от отца отчество своего деда.

Жизнь предков Чернышевского была бедна и однообразна, как только могло быть тогда бедно и однообразно существование сельского духовенства, занимавшего на социальной лестнице низшие ступени. Некоторые из предков будущего «мужицкого демократа» переходили из духовного в крестьянское сословие — в родословной его наряду с дьяконами и священниками были и простые землепашцы.

Гавриил Иванович родился в семье дьякона села Чернышева Чембарского уезда Пензенской губернии. Фамилию свою он получил при поступлении в семинарию по названию родного села. Еще в детстве лишился он отца, и овдовевшая мать, не имея средств кормить и

воспитывать сына, привела его в грязных лаптях к тамбовскому архиерею и, кланяясь в ноги, со слезами на глазах просила не оставить ее. Из жалости Гавриила Чернышевского определили в тамбовское духовное училище на «казенный кошт» Мальчик вовсе не знал грамоты, но, видимо, жаждал учиться.

В духовном училище он пробыл до 1803 года, весьма успешно окончил его и был переведен в пензенскую семинарию. По окончании ее Гавриила Ивановича как лучшего ученика определили учителем греческого языка в той же пензенской семинарии. Затем последовали назначения его библиотекарем и учителем пиитического класса семинарии.

В 1818 году случай изменил течение его педагогической карьеры. В тот год в Саратове умер протоиерей Сергиевской церкви Е. И. Голубев.

И вот тогдашний губернатор Саратова Панчулидзеv обратился к пензенскому архиерею с просьбой назначить на место Голубева «лучшего студента» из окончивших семинарию, с тем чтобы получивший назначение женился на дочери покойного протоиерея.

Не забывая и о своих интересах, губернатор добавлял, что просит прислать человека достойного, ученого, но небогатого, дабы тот взялся заодно преподавать науки губернаторским детям. Выбор архиерея пал на Г. И. Чернышевского, который вообще обращал на себя внимание как человек незаурядный.

Вскоре после свадьбы Гавриила Ивановича и Евгении Егоровны Голубевой состоялось и рукоположение его в священники «унаследованной» им Сергиевской церкви.

В приданое за Голубевой он получил дом на большом участке земли, спускавшемся от Сергиевской улицы вниз, к Волге.

Таким образом, преподаватель пензенской семинарии неожиданно для себя оказался возведенным в сан священника. Он вошел в семью, руководимую суровой и властной вдовой Голубева.

Выдав замуж старшую дочь Евгению, с целью оставить в «семейном владении» Сергиевскую церковь, Голубева вскоре выдала замуж и младшую дочь Александру. Если в первом случае ей был нужен кандидат в священники, то во втором она искала уже лицо дворянского происхождения. Не честолюбивые соображения толкали ее на это, а «житейская» необходимость. У Голубевых была многочисленная прислуга из крепостных, еще при «батюшке купленных», приобретение которых приходилось записывать на чужое имя, подыскивая подставное лицо дворянского звания. «Меня выдала мать именно затем, чтобы перевести на мое имя крестьян...» — писала Александра Егоровна.

Женившись на Евгении Егоровне, Гавриил Иванович одинаково заботливо относился и к ней и к младшей сестре ее — Александре.

После смерти Котляревского, первого мужа Александры Егоровны, ее, двадцатилетнюю, с тремя детьми, мать вторично выдала замуж за дворянина Н. Д. Пыпина. Первоначально Пыпины и Чернышевские жили вместе, в одной квартире, а потом, с увеличением семьи, Пыпины поместились во флигеле на том же дворе.

Семьи сестер были настолько дружны, что в сущности как бы слились в одну семью, жившую общими интересами.

12 (24) июля 1828 года Гавриил Иванович записал: «Поутру в 9 часов родился сын Николай». Пиршество, устроенное родителями в честь этого радостного события, надолго осталось в памяти саратовцев.

К этому времени Гавриил Иванович достиг известного положения в обществе: он был протоиереем, благочинным, членом консистории; но, как отмечал впоследствии сам Н. Г. Чернышевский, семейство его отца «не принадлежало даже и к среднему кругу губернского почета и блеска».

Семья не бедствовала, не нуждалась, но достаток поддерживался здесь непрестанной работой старших и носил довольно своеобразный характер. Хозяйственный уклад семей своего отца и Пыпиных Н. Г. Чернышевский в одном из своих писем сибирского периода называет безденежным. Было все жизненно необходимое, но не было денег.

Все старшие были постоянно заняты. Гавриил Иванович и Н. Д. Пыпин (работавший по дворянским выборам) с утра до ночи писали каждый свои должностные бумаги. Гавриил Иванович, по расчетам сына, собственноручно писал от 1 500 до 2 тысяч «исходящих» бумаг в год. При всем том он находил время заниматься воспитанием и обучением младших членов семьи. Он обучал свояченицу не только французскому, но и греческому языку. Племянницы, сын, племянник А. Н. Пыпин, ставший впоследствии академиком, — все они прошли первоначально его школу. И какую школу! Н. Г. Чернышевский, совершенно свободно говоривший на латинском языке, был целиком обязан этим отцу. «Я самоучка во всем, кроме латинского языка, которому хорошо учил меня отец».

Умение работать, многосторонность, внутренняя энергия, способности, получившие у сына совсем иное направление, передались ему от отца.

«Наши матери с утра до ночи работали. Выбившись из сил, отдыхали, читая книги», — вспоминал Чернышевский. Книга была в почете в этой семье. Гавриил

Иванович, человек весьма образованный и начитанный, не скупился на приобретение ценных изданий. Дети большею частью были предоставлены самим себе. Матери, погруженные в заботы безденежного хозяйства, могли только урывками уделять им внимание. Прислуга (крепостные Пыпиных) целиком была занята хозяйственными делами.

Мягкий, всегда сдержанный отец старался не стеснять свободы сына. Любовь беспокойной, болезненной матери, наоборот, была требовательна. И часто в юности Чернышевскому приходилось идти наперекор своим желаниям, чтобы не огорчать мать.

В привычном для себя кругу мальчик был оживлен, весел, разговорчив; в незнакомой среде — робок, застенчив, неловок. Одна особенность, отличавшая его с самого детства, наложила неизгладимый отпечаток на его внешнее поведение. У него была редкая степень близорукости. Он не узнавал в лицо детей, игравших с ним, если не приходилось в игре брать друг друга за руку «В детстве я не мог выучиться ни одному из ребяческих искусств, которыми занимались мои приятели-дети, ни вырезать какую-нибудь фигурку перочинным ножичком, ни вылепить что-нибудь из глины, даже сетку плести (для забавы ловлей маленьких рыбок) я не выучился: петельки выходили такие неровные, что сетка составляла не сетку, а путаницу ниток, ни к чему не пригодную», — так писал о своем детстве Чернышевский из Сибири в 1876 году.

Близорукость порождала в мальчике ту связанность, ту напряженность в малознакомом кругу, о которых неизменно пишут знавшие Чернышевского люди. Она же способствовала и некоторой обособленности его, приведшей к развитию ранней серьезности. Но дань детским забавам и играм, — хотя, может быть,

и не в полной мере, — все же была отдана Чернышевским.

Игры протекали на соседнем дворе, получившем название «Малая Азия». Здесь собирались деги небогатых чиновников и дворовых людей. Играм он предавался с увлечением, был изобретателен и предприимчив, всегда умел подобрать компанию и непременно привлекал к игре, наряду со старшими детьми, малышей.

Зимой одним из самых любимых развлечений их было катанье с гор на дровнях. Обычно происходило это без ведома родителей, когда те уходили в гости, поздним вечером. Соседи Чесноковы тайком посылали к Чернышевским своего крепостного мальчишка Ваську, а то Чернышевский являлся и сам, перелезая через забор, так как ворота в их доме на ночь запирались. На безлюдной темной улице собиралось несколько ребят. Они снимали с дровней бочку, в которой доставлялась с Волги вода, запрягались в дровни, тащили их на Гимназическую улицу или, чаще всего, на Бабушкин взвоз, покато бегущий к Волгѣ и кончающийся крутым спуском к реке. Разогнав дровни, ребята мчались мимо покосившихся домиков Бабушкина взвоза вниз.

Видимо, Чернышевскому доставляли удовольствие острые ощущения: в конце пути он непременно направлял дровни на высокий выступ, чтобы скатиться с него и пролететь на дровнях через прорубь у берега реки.

Наслушавшись рассказов дворовых людей о кулачных боях, ребята бегали любоваться ими на Воловую улицу. Там, около кабачка «Капернаум», по воскресным и праздничным дням «стена» семинаристов, во главе с кулачным бойцом Соболевским, вступала в бой со «стеною» тулупников и нередко разбивала ее.

Зрелище это захватывало Чернышевского. Глаза его сверкали, с замиранием сердца следил он каждый раз за ходом битвы, в которой так ярко проявлялись удаля и мужество народа, не знавшего, где применить свою богатырскую силу.

Саратов в ту пору был изрядною глушью. «Уж я был не маленький мальчик, — вспоминал Чернышевский, — когда каждую зиму все еще случалось, что волки заедали людей, шедших через реку из Саратова в Покровскую слободу — огромное село на другом берегу, несколько повыше города... И тоже, я был уже взрослый мальчик, когда слушал, стоя на дворе своего дома, близ берега Волги, как они завывают на той стороне реки».

Самым родным в детстве был свой двор, две-три близлежащие улицы — Покровская и Московская, площадь Нового собора, берег Волги от Соколовского оврага до местности на версту ниже Сергиевской улицы. Другие части города были ему мало знакомы.

Дома — обыкновенный, скромный (рассудительный, как сказал бы Чернышевский) порядок жизни. Игры, чтение, замкнутый мир священнической семьи с ее несколько обособленными интересами.

Церковь, священник, обедня, архиерей, исповедь — вот обычные темы домашних бесед, вот предметы, чаще всего занимавшие мысль и взрослых и детей. Дело не менялось от того, что Пыпины, жившие с Чернышевскими одною семьей, олицетворяли, так сказать, «светское» начало. Оно не только не контрастировало, а, наоборот, растворилось и тесно переплелось с «духовным» началом в лице Чернышевских. Но «духовное» носило здесь совершенно земной характер. «Простой человеческий взгляд на каждый отдельный факт жизни господствовал в этой семье». Ни тени фанатического изуверства, аскетизма или мистических настроений не было

здесь. «Церковь — это было у нас преимущественно «наша церковь», то-есть Сергиевская, в которой служил мой батюшка... «Белить церковь» — вероятно, наша семья столько же толковала об этом вопросе, сколько о том, делать ли вновь деревянную кровлю на нашем доме, когда прежняя изветшала, или крыть дом железом. «Священник» — это было у нас чаще всего Яков Яковлевич, товарищ моего батюшки по «нашей церкви»... Архиерей Иаков занимал собою всех нас с той стороны, что «не знает дел», то-есть законов и форм...» И так во всем.

Конечно, родные Чернышевского в глубине души относились к религии вовсе не безразлично. Гавриила Ивановича связывали с церковью не только лишь служебные интересы. И хотя Чернышевский впоследствии утверждал, что он целиком был обязан своей семье трезвостью взгляда на жизнь, религиозные предрассудки, вынесенные им из лона семьи, впоследствии еще долго давали себя чувствовать. Он не легко и не сразу, а, наоборот, только после напряженной борьбы сумел освободиться от них.

Влияние самой жизни с ее повседневными требованиями неизменно оказывалось сильнее религиозных традиционных понятий. Ведь старшие «не были теоретики, — говорит Чернышевский, — они были люди обыденной жизни, настолько придирчивой к ним своими самими не пышными требованиями, что они никак не могли ни на два часа сряду отбиться от нее, сказать ей: ну, теперь ты удовлетворена, дай мне хоть немножко забыть тебя — нет, нет, она не давала, не давала им забыть о себе. А были они все... люди честные (потому-то она и была придирчива к ним). И, вырастая среди них, я привык видеть людей, поступающих, говорящих, думающих сообразно с действительною жизнью. Такой

продолжительный, непрерывный близкий пример в такое время, как детство..., не мог не помогать очень много и много мне, когда пришла мне пора теоретически разбирать, что правда и что ложь, что добро и что зло».

За очерченным кругом семьи и ее влияний текла другая жизнь, и она не могла не отозваться на мировосприятии чуткого мальчика.

Он с ранних лет мог наблюдать, в каком тягостном состоянии живут низшие слои населения — так называемое «простонародье», как невыносимо гнетет крестьян крепостное право, рекрутчина, произвол и насилия властей

На берегу Волги были раскинута станы бурлаков и грузчиков, живших в ужасающих условиях и подвергавшихся неслыханной эксплуатации.

По Большой Царицынской улице мимо дома Чернышевских гнали партиями «кандальников». За десятилетие, с 1835 по 1845 год, из Саратовской губернии были сосланы в Сибирь за участие в бунтах сотни крестьян.

В деревенском соседстве Пыпиных, владевших наибольшим имением в Аткарском уезде, откуда в дом Чернышевских приезжали пыпинские крепостные, был убит крестьянами помещик, деспотически обращавшийся с ними. Слухи о жестокой расправе властей с крестьянами дошли и до детей

В жизни города обыденным явлением была так называемая «торговая казнь» (наказание кнутом) или же публичная экзекуция на плацу, где происходило учение солдат. В Саратове в ту пору стоял полк. На плацу производились маршировка и обучение ружейным приемам. Малейшая оплошность солдата влекла за собою немедленное публичное наказание тут же, на месте.

Двоюродный брат Чернышевского и младший друг его детства А. Н. Пыпин на всю жизнь запомнил

сцены, свидетелем которых был в отроческие годы. Толпы народа перед зданием рекрутского присутствия, слезы матерей, расстающихся с сыновьями на двадцатипятилетний срок, бесшабашное пьянство и отчаянная гульба тех, кому «забрили лоб».

Сильно врезались в детское сознание Чернышевского подобные сцены Отголоски их живут в автобиографическом романе «Пролог», где он изобразил себя под фамилией Волгин.

«Он вырос не в благородном обществе. Воспоминания его относились к жизни грубой и бедной. Ему вспоминались теперь сцены, от которых недоумевал он в детстве, — потому что и в детстве он уже был глубокомыслен. Ему вспомнилось, как, бывало, идет по улице его родного города толпа пьяных бурлаков: шум, крик, удалые песни, разбойничьи песни, — так описывал Чернышевский саратовский период своей жизни.

Еще в детстве Волгин недоумевал от этих сцен. Его поражало, что достаточно было одного окрика дряхлого инвалида-будочника: «Скоты! Чего разорались? Вот я вас!» — чтобы сразу притихла и разбрелась шумная ватага бурлаков, «Стеньки Разина работников»»

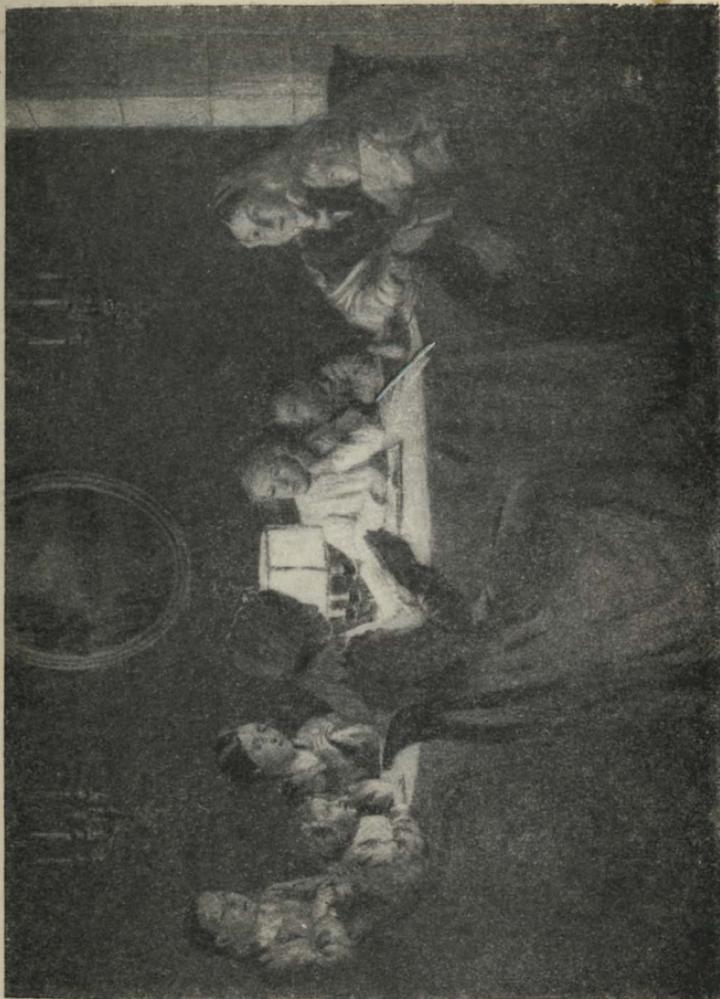
Забитость народа, бессилье массы перед притеснителями бросались в глаза, тревожили пытливую мысль Чернышевского даже в раннюю пору его жизни

Примерно с середины 1836 года Гавриил Иванович начал более или менее систематически заниматься с сыном. К этому времени относится первая из ученических тетрадей Чернышевского — тетрадь с прописями: «Груд все преодолевает», «Честный человек всеми любим», «Един есть бог естеством» и т. п.

Отец решил самостоятельно подготовить сына к поступлению в семинарию. Эта задача не представляла для Гавриила Ивановича трудности, так как он обладал не только педагогическим даром, но и некоторым педагогическим опытом. Он свободно читал греческих и латинских классиков, хорошо знал математику, историю, географию. Известный историк Н. И. Костомаров, общавшийся с отцом Чернышевского в годы своей саратовской ссылки, говорит, что некоторая односторонность образования Гавриила Ивановича восполнялась не только природным умом, но и постоянным чтением.

Задачи обучения сына облегчались также редкими способностями и восприимчивостью ученика. Успехи мальчика обращали на себя внимание всех близких.

Родственник его А. Ф. Раев в своих неизданных воспоминаниях пишет об этом периоде: «Без книги в руках трудно было видеть его; он имел ее в руках за завтраком, во время обеда и даже в течение разговора. Читал книги разнообразные, имевшиеся в библиотеке его отца. Мне чаще всего приходилось видеть его с энциклопедическим словарем Плюшара. Страсть Николая Чернышевского к чтению была поразительна. Под его влиянием я прочел в то время (Раев был лет на пять старше Чернышевского. — Н. Б.) много и даже всю «Историю» Роллена, переведенную на русский язык Тредьяковским. Чернышевский в десятилетнем возрасте имел столь обширные и разнообразные сведения, что с ним не могли равняться пятнадцатилетние ученики средних учебных заведений. Будучи тринадцатилетним мальчиком, он содействовал мне в подготовке к экзаменам для поступления в высшее учебное заведение».



Семья Чернышевских и Пылиных за чтением. (С картины художников
В. В. Даниловой и О. А. Дмитриева.)



«Рекрутчина». (С картины художника Ю. М. Казмичева.)

Привычка к чтению превратилась у него в настоящую страсть, что вызывало протесты со стороны бабушки и, напротив, молчаливое поощрение со стороны отца. Гавриил Иванович считал, что благодаря усиленному чтению у мальчика вырабатывается хороший слог в переводах «Удивительно, как Коля чисто по-русски передает мысль греков», — замечал иногда Гавриил Иванович.

С уроками, заданными отцом, мальчик справлялся счень быстро, а затем уходил играть на улицу или садился читать, а то играл в шашки с бабушкой Пелагеей Ивановной, которая за доскою передавала внуку так хорошо запомнившиеся ему рассказы о старине.

5 сентября 1836 года Гавриил Иванович определил сына в духовное училище. Последовало, в сущности, лишь формальное зачисление его в списки учеников духовного училища, с оговоркою, что он имеет право не посещать школу, занимаясь дома, и обязан лишь держать экзамены.

Гавриил Иванович стремился уберечь сына от тягостных впечатлений, какие тот мог бы вынести из училища, где укоренились грубые нравы, телесные наказания и бессмысленная зубрежка.

Училище помещалось в грязном, запущенном двухэтажном здании на площади против Троицкого собора и старого Гостиного двора. Зимой школа плохо отапливалась, ученики сидели на уроках в пальто и в полушубках. Гавриил Иванович знал, что ректор училища склонен к пьянству, что преподаватели, жившие тут же в общежитии при училище, невежественны и грубы. Он рассудил, что разумнее обойтись без помощи такой школы.

Мальчик проявлял исключительную любознательность, был чрезвычайно памятьлив, сообразителен и все, что-усваивал, усваивал прочно и основательно.

Предполагалось, что ему предстоит духовная карьера. Его готовили к семинарии. Латынь и греческий язык составляли основу семинарского образования. Этим языкам и уделил особое внимание Гавриил Иванович в своих занятиях с сыном.

Правда, заниматься приходилось урывками «Когда ему учить Колю? — жаловалась мать. — Придет из церкви, полчаса поговорит с ним, велит ему написать по-гречески и уйдет в консисторию, а Коля сядет за книгу, напишет и уйдет играть» Но и самостоятельный интерес у Чернышевского к языкам обнаружился с самых ранних лет, хотя не легко и не просто было удовлетворить жажду знаний, живя в глухом провинциальном городе, «в кругу священников и дьяконов». Семья его не была настолько обеспечена, чтобы дать ему воспитание, какое получали тогда дворянские дети, окруженные гувернерами и домашними учителями. Он сам проявлял инициативу и изобретательность. Так, познакомившись случайно с персом, торговавшим фруктами, Чернышевский предложил ему уроки русского языка, с тем что сам будет учиться у него персидскому. По окончании торговли перс этот являлся в дом к Чернышевским, сбрасывал на пороге туфли, усаживался с ногами на диван, и начинались занятия, к которым мальчик относился с чрезвычайной серьезностью.

А. Н. Пыпин вспоминает: «Кажется, очень рано он был хорошим латинистом; мне ясно припоминается он за чтением латинской книги.. Это было старое, первых годов семнадцатого столетия, издание Цицерона; помню, что он читал его свободно, не обращаясь к словарю».

Систематически учиться французскому языку Чернышевскому не пришлось. Он перестал посещать частный пансион, заметив, что товарищи посмеиваются над его произношением. Но, отказавшись от посещения пансиона, он усердно занимался сам. По-немецки двоюродные братья начали учиться вместе у немца-колониста Грефа, учителя музыки, согласившегося давать детям уроки немецкого языка взамен уроков русского, которые он брал у Гавриила Ивановича.

По уцелевшим ученическим тетрадям Чернышевского видно, что еще до поступления в семинарию он изучал латинский и греческий языки, зоологию, естественную историю, геометрию, русскую грамматику и теорию словесности, историю, географию, немецкий и французский языки, делал переводы со славянского на греческий и с греческого на русский. После же поступления в семинарию к этому, помимо общесеминарских предметов, прибавились занятия персидским, арабским, древнееврейским и татарским языками.

От первых несложных стилистических упражнений для выработки слога он перешел через несколько лет к переводам из Корнелия Непота, Цицерона, Тита Ливия.

Наряду с обязательными занятиями — чтение «Библиофаг, дожиратель книг», он «читал рецитально все, даже ту «Астрономию» Перевощикова, в которой на каждую строку, составленную из слов, приходится чуть не страница интегральных формул».

Прежде всего были «исхожены вдоль и поперек более близкие книжные пажити». Библиотека отца размещалась в двух шкафах, в ней были писатели XVIII и начала XIX веков: «История государства Российского» Карамзина, «Энциклопедический лексикон» Плюшара, «Картины света» А Вельмана, обширная истори

ческая литература. Не ограничиваясь наличием своей библиотеки и выписываемых журналов и газет — «Живописное обозрение», «Московские ведомости», отец Чернышевского, постоянно сносившийся с дворянскими семьями в городе, брал для домашних новые издания, и таким образом здесь появлялись сочинения Пушкина, Жуковского, Гоголя, ежемесячные толстые журналы. «Отечественные записки», «Библиотека для чтения», «Современник»

По «Отечественным запискам» Чернышевский еще до университета мог познакомиться с произведениями Герцена и Белинского.

В семинарии Чернышевский был зачислен в параллельную группу первого (по тогдашней терминологии — низшего) класса, носившего название класса риторики, за которым следовали еще средний класс — философии — и затем высший — специальный класс богословия. Семинария мало могла дать Чернышевскому. По уровню своего развития и знания он стоял гораздо выше требований, предъявляемых к ученикам. Учиться в ней ему было почти нечему, кроме того, чему не следовало учиться. Семинария с ее схоластическими методами преподавания только отнимала у него время. Что он мог получить здесь? Философия была всецело приспособлена к требованиям богословия, словесность — к составлению проповедей и все прочее — в том же духе. Много лет спустя Чернышевскому пришлось в одной из работ обрисовать обстановку нижегородской семинарии, где учился его друг Добролюбов. «Даже те воспитанники, — говорит он, — которые по своим умственным силам не превышали уровня обыкновенной даровитости... не могли не досадовать на пу-

стоту ее преподавания. Тем тяжелее было тратить в ней время юноше такой силы ума, такой пламенной любви к науке, таких обширных знаний, как Добролюбов. Он презирал семинарскую программу и свои школьные занятия по ней».

Должно быть, слова эти навеяны впечатлениями и воспоминаниями Чернышевского о пребывании в стенах саратовской семинарии и могут быть целиком отнесены и к нему самому.

На уроках он большею частью занимался выписыванием из лексиконов, стремясь расширить свое знание языков. Это осталось в памяти его одноклассников, отмечавших, впрочем, что как бы Чернышевский ни был погружен в свои лингвистические занятия, любой вопрос преподавателя не заставал его врасплох. Он тотчас отрывался от тетрадей, вставал и отвечал урок, обнаруживая при этом знания, идущие далеко за пределы обычной подготовленности.

Особенно любили ученики, когда наступала очередь Чернышевского отвечать по истории. Обыкновенно эти уроки протекали вяло. Преподаватель Синайский был отличным знатоком греческого языка, но историю знал плохо. Ученики скучали в классе, но когда учитель заставлял отвечать Николая Гавриловича, многолюдный и шумный класс мгновенно затихал. Чернышевский говорил увлекательно и живо, с подробностями, которых не было в учебнике.

Сочинения его (а именовались сочинения в семинарии «задачами») считались образцовыми. «Так развивать тему сочинений могут только профессора академии», — докладывал о них начальству учитель словесности.

О характере «задач» сам Чернышевский вспоминал позднее так: «У кого эти «задачи» составляли

толстую книгу, тому было обеспечено благоволение начальства Количество тем, находившихся в обращении при задании задач, было не слишком многочисленное. «страдания приближают нас к богу», «о пользе терпения», «дурное общество развращает нравы» и т. п. — в риторическом классе или низшем отделении семинарии, «о различии души и тела», «о преимуществе умозрительного метода над опытным» и т. п. — в философском классе или среднем отделении, всех различных тем, задававшихся в течение целых 5 или 6 курсов, то есть 10 или 12 лет, набралось бы не больше ста, а каждый год писалось несколько десятков «задач», стало быть, одни и те же темы очень часто повторялись»

Порою самостоятельность подхода к теме у Чернышевского-семинариста вызывала критические замечания преподавателей. Так, например, написанное в 1845 году на латинском языке «Рассуждение — следует ли отдавать предпочтение школьному воспитанию перед домашним», где Чернышевский решительно высказывается в пользу домашнего воспитания, осуждая методы и систему тогдашнего школьного преподавания, получило двойственную оценку преподавателя «Изложение ясное и очень хорошее, — замечает последний, — но направление мыслей, обращение внимания только на школьные злоупотребления, — ложно. Ничего не сказано о цели, к которой направляет школу высшая власть»

Воздействие школьной среды всегда очень ощути-тельно Чернышевский попал в школу, когда ему было уже четырнадцать лет, после привычной семейной обстановки он очутился в новой для него среде

Вот каким рисует его один из товарищей по семинарии «В то время он был несколько более среднего росту, с необыкновенно нежным, женственным лицом;

волосы светложелтые, но волнистые, мягкие и красивые, голос его был тихий, речь приятная, вообще это был юноша, как самая скромная, симпатичная и невольно располагающая к себе девушка. К его несчастью, он был крайне близорук: книжку или тетрадь он держал всегда у самых глаз, а писал всегда наклонившись к самому столу»

Застенчивый, женственный с виду, близорукий, тихий юноша. Казалось бы, налицо все качества, чтобы стать мишенью для насмешек озорных, грубоватых семинаристов. К тому же роль «первого ученика» в старой школе зачастую не только выделяла, но и отгораживала такого ученика от товарищей.

Но с Чернышевским этого не произошло. Он внушал товарищам и любовь и уважение. Они беспрестанно обращались к нему за помощью, а он в таких случаях был неизменно внимателен и отзывчив.

В век процветания особой грубости и дикости семинарских нравов обычай тогдашней саратовской семинарии, пожалуй, были еще сравнительно мягки. Сечение здесь не вводилось в систему, хотя иные вспыльчивые наставники и не прочь были прибегнуть к рукоприкладству. Учеников ставили на колени в угол, заставляя за провинность класть земные поклоны.

Классные комнаты по зимам отапливались плохо, в окнах вторых рам не вставляли, двери были разбиты — в классах стоял невыносимый холод. На переменах, чтобы согреться, ученики принимались бороться. «Комнаты были огромные, народу пропасть, все возят ся, а Чернышевский засядет в угол, смотрит и улыбается. Вытащат и его, — начнет и он бороться. Нередко случалось, что когда он уставал, то борцы возьмут его на руки и, с почетом, отнесут его опять на свое место».

Особой свирепостью отличался среди учителей се-

минарии латинист Воскресенский, человек резкий, грубый, необычайно противоречивый в своих поступках. Беднейшим ученикам он оказывал поддержку и деньгами и одеждою. Вместе с тем до крайности вспыльчивый «Зодка», как прозвали Воскресенского семинаристы, в раздражении бил учеников книгами по голове, трепал их за волосы и за уши, а одного семинариста даже сбросил с лестницы. Это не мешало ему приглашать потерпевших к себе, угощать их чаем, что считалось известной честью для учеников...

Чернышевский, отлично зная латынь, всегда старался выручить товарищей. Он являлся в класс еще до начала урока, проверял и объяснял заданное. «Подойдет группа, человек в пять-десять, он переведет трудные места и объяснит; только что отойдет эта, — подходит другая, там третья и т. д., а там: то из одного угла кричат: «Чернышевский! Почему здесь стоит *scripsum?*», или что-нибудь в этом роде, то из другого: «Какое значение дать здесь слову?...» И не было случая, чтобы Чернышевский выразил, хоть бы полусловом, свое неудовольствие...»

С большинством одноклассников у него установились ровные приятельские отношения, с некоторыми — что-то похожее на дружбу, но сокровенным и единственным другом Чернышевского в семинарии был Михаил Левицкий. За всю жизнь у него было лишь три таких друга: в школьные годы — М. Левицкий, в университете — В. Лободовский, в период «Современника» — Н. Добролюбов.

Образы первого и последнего не случайно соединены в «Прологе», где под фамилией Левицкого изображен Добролюбов. Видимо, писатель чувствовал что-то общее в этих лицах, как-то соединял их в своем воображении. Может быть, и в том и в другом его привлекали

непокорность традициям, решительное отрицание условностей, бунтарство, прямолинейность в поступках. Эти черты своих друзей Чернышевский нередко сопоставлял со своею мнимою вялостью, нерешительностью. Как юзнее его восхищали прямота и резкость в поведении Добролюбова, так теперь его привлекала независимость свободолюбивого Левицкого. Сам Чернышевский, при всей своей внутренней твердости, был в личном обращении мягок и застенчив. Эта мягкость в общении с окружающими, не вязавшаяся с внутренней непреклонностью, раздражала и мучила самого Чернышевского. Он часто осуждал себя, готов был считать свой характер «уклончивым», «податливым», хотя это была податливость чисто внешняя, не простиравшаяся на поступки и убеждения. Однако в молодости он ощущал это противоречие с особенной остротой.

Воля к действию созревала в нем постепенно и медленно, зато, созревши, становилась уже непреодолимою.

Порывистый Левицкий был в некотором смысле противоположностью Чернышевскому. Он открыто высказывал свое несогласие с преподавателями, постоянно спорил с ними и с учениками.

В классе они сидели рядом: Чернышевский — первым на первой скамье, Левицкий — вторым.

— Ты, Левицкий, настоящий лютеранин, — говорил ему законоучитель Петровский, — твои возражения не в православном духе. Ты споришь не затем, чтобы узнать истину, а затем, чтобы выведать мои познания, поймать меня на слове, сконфузить перед классом.

В конце концов Левицкий был даже лишен казенного содержания за то, что однажды на уроке древнееврейского языка исчеркал записки учителя и на вопрос последнего ответил ему: «Зачем вы здесь наврали?»

Вот этот-то «протестант» и стал самым близким другом Чернышевского. Они не могли двух дней прожить друг без друга. Но когда однажды Николай Гаврилович заболел лихорадкой и недели три не являлся в семинарию, то Левицкий не решился навестить его, потому что у него не было сносного костюма. Зимой он ходил в синем зипуне, а летом в нанковом халате.

История с лишением Левицкого казенного содержания произошла, когда его друг уже вырвался из саратовской семинарии в Петербург. Получив там известие об этом и еще не зная в точности причин, вызвавших кару, Чернышевский был огорчен до глубины души. Еще бы! Ведь Левицкий был в его глазах чуть ли не будущей гордостью России. Лишение единственной материальной опоры ставило под удар судьбу талантливого, но неустойчивого юноши, и без того склонного топить неудачи в вине.

«Теперь он и вовсе сопьется с кругом, — решил Чернышевский — Это человек с удивительною головою, с пламенной жаждою знания, которой, разумеется, нечем удовлетворить в Саратове. Эти мелкие, но ежеминутные... препятствия, естественно, каждого, кто не одарен слишком сильною волею, твердым характером, сделают раздражительным, несносным человеком. Верно, он думал, думал о том, что дельное, нужное, полезное могло бы из него выйти, но... и взрывало бедняка».

Должно быть, случилось именно так, как предполагал Чернышевский. Левицкий спился. Неизвестно в точности, когда он умер, но уже в 1862 году Чернышевский упоминает о нем, как о покойном.

